

М · А · Й · Я

Финалист премии
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

КУЧЕРСКАЯ



Истории о том, как побороть тьму внутри себя

Плач по уехавшей учительнице рисования



ЦЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Эксклюзивная новая классика

Майя Александровна Кучерская
Плач по уехавшей учительнице
рисования (сборник)
Серия «Эксклюзивная новая классика»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6694712

Плач по уехавшей учительнице рисования : АСТ; Москва; 2016

ISBN 978-5-17-100031-8

Аннотация

Майя Кучерская – прозаик, филолог, профессор Высшей школы экономики. Автор романов «Бог дождя» и «Тётя Мотя», книг «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» и «Сглотнула рыба их: беседы о счастье» (совместно с Татьяной Ойзерской).

«Плач по уехавшей учительнице рисования» – это драматические истории о том, как побороть тьму внутри себя. Персонажи самого разного толка – студентка-эмигрантка, монах-расстрига, молодая мать, мальчик-сирота – застигнуты в момент жизненного перелома. Исход неизвестен, но это не лишает героев чувства юмора и надежды на то, что им всё же удастся пройти по воде, станцевать на крыше и вырастить дерево из музыки Баха.

Содержание

Кукуша	5
Химия «жду»	26
Среднестатистическое лицо	57
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Майя Кучерская
Плач по уехавшей
учительнице рисования

Рассказы

Кукуша

Всем самовольне живот свой скончавшим

Звонок не работал, она нажала на дверь ладонью, дверь поддалась, крикнула: «Привет!» Гриша выскочил в коридор из боковой комнаты. Резко, громко засмеялся. Своим новым, настоящим на бесполезных травах смехом.

Он стоял перед ней в пестром цветном платке, круглые красные маки, зеленые листья летели по черному фону, в ядовито-оранжевой, какой-то нездешней рубашке и, видимо, трусах. Трусов видно не было, рубашка свешивалась совсем низко, из-под нее торчали голые ноги и детские круглые коленки. Гриша был страшно весел и возбужден.

Вслед за ним так же быстро и резко из комнаты вынырнул другой человек. Молодой паренек, длинный, смуглый, с редкой, кустиками торчащей бородкой, тоже в рубашке по колено, синей в размытый желтый горох, в бандане с черепашками. С таким же нервным и хохочущим взглядом. Оба они слегка подскакивали. Словно бы не могли устоять и танцевали под неслышимую ей музыку. И оба чуть-чуть подсмеивались. Им явно нравилось, как они прикольно одеты и что она на них внимательно смотрит. На их коленки. Но она смотрела недолго.

Из квартиры дохнуло паром, густым белым паром кош-

мара, толкнувшим в грудь, спеленавшим и сжавшим сердце. Она покачнулась, отступила назад и прижалась спиной к двери. Вот тебе пакетик, роял-чизбургер, детская картошка, стакан с кока-колой, всё как ты сказал. Смуглый парень в заказе отчего-то учтен не был.

Гриша заглянул во влажный бумажный пакет, вынул желтую картофелинку и тут же скорбно поднял брови, произнес нараспев, помахивая ею, как дирижерской палочкой: «Картошка-то уже остыла».

Прости! Но я слишком много времени провела в твоём лифте.

Она вошла в лифт, нажала кнопку. Двери сдвинулись, но свет тут же погас. Лифт никуда не поехал. Она понажимала на разные кнопки еще – без толку. Застряла! Первый раз в жизни. Ей стало смешно. Она снова начала нажимать на все подряд, сверху вниз, снизу вверх, наконец что-то негромко загудело, и стенка заговорила грубым женским голосом: «Что у вас там опять?» «У нас опять застревание», – сказала она и засмеялась. Голос за постепенно проступившей сквозь тьму железной сеточкой панели тяжело, по-лошадиному вздохнул и пообещал прислать механика. «Когда?» – «Ждите». Диспетчер отключилась.

Но вот прошло уже десять (пятнадцать?) минут, а механик все не приходил. Ей было уже не смешно. Сытный сырой запах макдоналдской картошки, слегка разбавленный идущим из подъезда запахом кошачьей мочи, заволок простран-

ство кабины. Было темно и тихо. Нужно было срочно позвонить Сене. Она снова и снова ощупывала карманы, хотя давно поняла, что мобильник остался на сиденье машины: телефон почти разрядился, и она поставила его на подзарядку. Да так и забыла. В машине остался и Сеня, ее муж, он отказался идти к Грише наотрез, потому что был тот самый муж, который не ходит на совет нечестивых. Но Сеня никогда и не знал того Гришу, которого знала она, строгого мальчика в очках, с мягкими, отливающими светлым золотом кудрями, никогда не видел, как он сидит на первой парте в левом ряду, недовольно смотрит на доску, что-то быстро и сосредоточенно пишет. И она пошла к Грише одна, буквально на минутку, только отдать пакет. А лифт застрял.

Она снова нажала на кнопку и услышала все такое же грубое, теперь уже почти развязное: «Идет уже, счас».

Почему же лифт не поехал? Почему тут же погас и даже не подумал отправиться на шестой этаж? Но может быть, это не лифт, это Бог так говорит ей, что Он против? Что Ему совсем не хочется, чтобы она ехала к Грише. Потому что в этом нет никакого смысла.

Снаружи с железным лязгом хлопнула входная дверь. Сеня? Раздался шуршащий ритмичный шум. Шарк-шарк, стук. Шарк-шарк, стук. Она припала к тоненькой прорезиненной щели между сжатыми дверями – к лифту подходила старушка с палкой, в белом платке, плаще, с небольшой сумкой. Из сумки торчал уголок черной буханки. Бабушка явно возвра-

щалась из магазина. Подошла к лифту, нажала на кнопку.

– Он сломан! Лифт сломался, а я в нем сижу! – закричала я. И снова засмеялась.

– Вы в какую квартиру? Может, позвать их на помощь? – довольно дружелюбно откликнулась бабушка.

– Бесполезно. Они вряд ли придут. Сейчас механик меня спасет, я уже вызвала.

– А в квартиру-то вы в каку-у-ю? – снова спросила бабушка. – Номер какой?

Похоже, она умирала от любопытства.

– В сорок девятую.

– А-а. К Григорию, – протянула бабуля. – Этого Григорья удавить мало.

– Почему? – я все так же кричала. Мне казалось, из лифта меня не слышно. И еще мне просто хотелось поговорить с ней; за что она хочет удавить Григорья, я и так примерно знала.

– Бомжи ходят, – потекли объяснения. – На лестнице ку-чи. И лужи. Уж и в милицию его два раза забирали.

Бабушка замолчала, а я думала, что же, что мне сказать в Гришино оправдание... Но так ничего и не придумала.

– Ладно, пойду позвоню в диспетчерскую, чтоб поскорей пришли.

Кажется, она простила мне Григорья и снова устучала на улицу. Наверх, видимо, решила пока не подниматься. Только вот откуда же она будет звонить?

Механик все не шел, и от скуки, но больше чтобы отвлечься и не думать о Сене, который ждет меня в десяти метрах на улице и уверен, что вот-вот я вернусь, вот-вот, а меня все нет, я вспоминала, как совсем недавно, недели три назад, Гриша заезжал к нам в гости, взять денег и попрощаться навсегда. Сени тогда, слава богу, не было дома.

Гриша уходил в подполье. На шее у него висели разноцветные связанные из ниток бусы: «четки» – объяснил Гриша. А за руку Гриша держал девочку, совсем юную. «Женя. Учится в одиннадцатом классе». И пояснил: «Еще несовершеннолетняя». В подполье они собирались вместе.

Из комнаты выбежала Ляля, увидела Гришу, замерла. В тот день он был одет в шелковую бордовую женскую кофту с вышитыми золотом узорами. И маленькую тюбетейку на макушке. Такого Ляля еще не видела и тихонько приоткрыла рот. Гриша протянул ей «четки». Ляля просияла, сказала спасибо и тут же убежала обратно, показывать бусики Мите. Митя не выходил – он боялся.

– Ты знаешь историю нашей любви? – спросил Гриша.

Я не знала. И за чаем Гриша все рассказал.

Женя пришла к нему в гости как раз в день его рождения. Поэтому она была для него даром судьбы. Она осталась у него на несколько дней. Но родители Жени не захотели, чтобы их девочка жила с Гришей в его квартире, и папа девочки с двумя своими друзьями ворвались к нему и дали ему по морде, не сильно, а только чтобы попугать и чтобы он нико-

гда больше не трогал их девочку. И забрали Женю с собой. Но на следующий день девочка сбежала от родителей, потому что понимания у нее с ними не было никакого, то ли дело с Гришей, так что Женя снова вернулась к нему...

Женя слушала историю своей любви беззвучно, отпивала горячий чай крошечными глотками, а Гриша отодвинул чашку, потянулся к Жене и начал целовать ей руки: «Мы как Ромео и Джульетта, сейчас ведь такого просто уже не бывает».

– Какого? – спросила я.

– Чистой любви, – Гриша опустил голову.

Я подумала: «От стыда».

– Ладно, пойду покакаю, – он встал из-за стола и строго посмотрел на нас. – А вы пока поговорите.

Гриша остановился, немного задумался, взглянул на Женю.

– Маша вообще-то хорошая, ты не смотри, что она такая грубая. На самом деле она настоящая христианка.

И он ушел в туалет.

Женя оказалась медленная и знала мало слов. Какие у нее были волосы, какие глаза? Непонятно. За что же она так понравилась Грише?

– Понимаешь, – говорила я в стенку над ее головой, потому что в глаза Женя все равно не смотрела, – он бросит тебя завтра, нет, послезавтра. В самом крайнем случае через шесть дней. Максимум через неделю! Ты думаешь, у те-

бя началась новая интересная волшебная жизнь, приключения, мальчик, любовь, похищение. Но ведь Гриша не мальчик, понимаешь? Он старше тебя в два, ровно в два раза. Ты девочка, но он не мальчик! Через год, да какой там год, гораздо раньше, ты поймешь, как все это ужасно. Он наркоман, ему на тебя наплевать, и ты, ты тоже станешь наркоманка... Куришь уже травку?

Боже, какой тупой вопрос.

– Так... – мотает головой девочка. – Иногда.

– И будешь наркоманка, – почему-то меня душили слезы.

Женя ничего не замечала. Она сидела спокойно и совершенно неподвижно, замороженно, спрятав руки под стол, опустив голову. Скоро они с Гришей уйдут в подполье, а тут какая-то чужая тетка, старая, вон за стеной орут ее малые дети, говорит что-то неприятное, лишнее – зачем?

Но может, перед приходом сюда они уже покурили и ее молчаливость – естественное торможение после этого дела? Реакции ведь бывают разные. А возможно, Женя реагировала так всегда, на любую человеческую речь.

Ясно было одно – не зацепить. Ничем не выцарапать ее из этой комы, не растормошить никак. Скажи ей сейчас – твою маму убили. Только что ее зарезали бандиты. Посмотрит так же волооко, мотнет головой и все равно поедет с Гришей в подполье. Да какое подполье – обычная квартира, слоящийся серым сумраком сквот, с отключенным электричеством, старыми шубами и пальто вместо одеял, с кухней, в которой

только одна неразбитая чашка, зато мешков с мусором целая батарея, но вынести их ни у кого уже нету сил, царство безволия и украденного счастья, здесь висают на недели, месяцы, потому что «времени больше не будет». Но Грише, Грише первому же там не понравится, потому что Гриша любит комфорт, ну а я люблю Гришу, точнее, того, кто когда-то рассказывал мне про Христа. Кто тихо шагал впереди в поющей легкими ангельскими голосами темноте крестного хода, оборачивался, заботливо зажигал погасшую на апрельском ветру свечку, и круглая золотистая вспышка вдруг озаряла снизу юное, тонкое, полное неземной и пьяной воздушной радости, такое родное лицо. Где он теперь? Где тот светлый юноша не в шутовской, не в женской – в обычной, белой пасхальной рубашке? В какое подполье его упекли? Разве бывает преображение наоборот, Господи? Когда, в какой миг это светлое, отражающее небо зеркало, душа человеческая, идет трещинами, корежится, теряет цельность, раскалывается на сотни неровных острых кусков? Женя, ты меня слышишь? Налить тебе еще чаю?

Гриша вернулся из туалета – спасибо за угощение, мы, наверно, пойдем. В подполье нам очень понадобятся деньги, дай сколько сможешь, Маша. Гриша произносит все это раздумчиво, неторопливо, и не успевает она подумать, что вот она и цель непонятного визита, как он повторяет: «Сколько сможешь». Смогла триста рублей, а еще банку дачного яблочного варенья и – против воли! – самую любимую от-

крытку – Гентский алтарь. Много раз я думала, что если рай все-таки существует, он именно такой, каким нарисовал его Ван Эйк. Сколько раз эта картинка утешала меня, отвлекала от ненужных мыслей. В самодельной рамочке из картонки она стояла в большой комнате, прислонясь к черному собранию сочинений Достоевского. Была видна из коридора, Гриша заметил ее, когда шел одеваться, заметил и сразу начал просить. «Дай, пожалуйста». Гриша, это моя любимая! Не могу. Тогда он встал на колени, плюхнулся прямо на коридорный грязноватый половичок: «Дай, дай мне, пожалуйста! Умоляю тебя».

Девочка Женя сказала: «Ну что ты выпрашиваешь?» Застыдилась. Она же не знала, что такое «Гентский алтарь» и что существует на земле маленький город с домами в треугольниках, а люди гоняют там по улицам на великах и могут смотреть на свой алтарь хоть каждый день. Правда, через толстое стекло. Но видно все же неплохо.

В коридор вышла Ляля, отдала Грише «бусики». Он снова повесил их на шею, банку и алтарь уложил в рюкзак и взял Женю за ручку.

Я провожала их до лифта, и ни один человек на земле не знал, а теперь вот – хобана! – узнают все – больше всего на свете мне хотелось попросить их негромко:

– Ребята. Возьмите меня с собой.

Я знаю, там плохо, там наркоманы, ну. Но я и не буду курить и колоться тоже, я просто сяду в углу и буду сидеть, ти-

хо-тихо, вжавшись в стенку спиной, укрыв ноги чем-то теплым и ветхим, и никуда не пойду, и ни с кем не буду разговаривать, только иногда скошу глаза на картинку с белой овечкой, освещенную мягким закатным солнцем, отчего-то мне всегда казалось, что свет не вечерний на ней – именно что вечерний. Только изредка полюбуюсь на нарядных, борода-тых всадников, оседлавших белых коней, на острые башенки и красивых людей на зеленой-зеленой мягкой траве. Может быть, иногда схожу на кухню попить водички, и опять молочок. Я немножко там отлежусь, отсижусь, я совсем недолго, недолго проживу так, будто я одна и никого у меня нет, ни дочки Ляли, ни сына Мити, ни мужа Семена, никого. Будто я в этом мире совершенно одна. А потом я вернусь, честное слово.

– Не пришел еще? – заговорила панель знакомым лошадиным голосом.

– Не-е-ет! Где же он? Меня ждет на улице муж!

Но панель уже смолкла.

Сеня, да ведь я бы тоже не пошла ни к какому Грише, но просто мы же проезжали сейчас мимо Гришиного дома, когда еще здесь окажемся, и это подполье, мне хотелось убедиться, что все в порядке, что он уже дома и никакого подполья больше нет. Сегодня ночью наступит Пасха, можно хоть одно-единственное хорошее дело совершить за этот Великий пост? Просто накормить человека обедом. Сеня вздохнул и согласился. Мы тут же позвонили Грише, он был до-

ма, кажется, обрадовался, шутил и хохотал в телефон, да, да, пасхальную картошечку! А заказал всего-то ничего. Но Сенья сказал: «Как же так, еще рано роял-чизбургер, купи ему филе-о-фиш». Имея в виду, что в чизбургере мясо.

И все было бы правильно, конечно, филе-о-фиш, если бы дело происходило на земле, но Гриша давным-давно переехал на другую планету. Какой там «рано», какое мясо и законы гравитации, где он жил теперь, он и его друзья, его девочки? Существует ли на этой планете Пасха, тем более пост?..

Снова ударила подъездная дверь. Я припала к щели. К лифту приближался человек в синем комбинезоне и с чемоданчиком в руке – механик.

– Щас я вас освобожу.

Что-то звонко щелкнуло, и двери лифта с мягким гулом раскрылись.

Спасибо, спасибо, я уже бежала по лестнице наверх, скорее, к Грише, а потом к Сене, но сначала все-таки к Грише! Но из квартиры дохнуло ужасом, взяв пакет, Гриша перестал подскакивать, начал жевать картошку, его друг тоже потянулся к еде, и оба совершенно одновременно полужастыли, отвлеклись, впали в медленное жевание. Чмок в небритую щечку, с наступающим тебя, и ни слова о девочке Жене, о подполье, я и так все знаю – быстрее назад.

Лифт работает, но я сбегая по лестнице пешком. Машина перед подъездом стоит пустая. Сени в ней нет. Поднимаю

голову и вижу, как через проспект Мира бежит человек, ла-вируя между машинами ловко-ловко и быстро-быстро. Это Сеня. Обиделся и не захотел больше меня ждать, рванул к метро.

– СЕНЯ! Я! ЗАСТРЯЛА! В ЛИФТЕ!

Но шум машин заглушает даже самый громкий ор. Сеня не слышит, Сенина спина растворяется в толпе, теряется за стеклянными дверями.

Ключ от машины у меня в кармане, машина осталась открытой. Мы едем домой по отдельности. Я на машине, Сеня на метро.

Всю дорогу я думаю про моего мужа.

Почему он меня не дождался? Всего минуты ему не хватило, ровно за минуту до моего выхода из подъезда он бросился бежать, хоть бы немного еще потерпел! А может, тогда и бросился, когда увидел, что я наконец-то выхожу? И все-таки дождался, убедился, что я в порядке? Но почему тогда не спросил меня, что случилось? Почему не пришел на помощь? Ведь он знал, куда я шла. А может, меня связали наркоманы и не хотели отпускать? Да, невозможно было додуматься, что я сижу в лифте, но он и не пытался, он сразу решил, что это я веду беседы с Гришей, наверное, объясняю Грише, почему курить марихуану нехорошо, а о нем, о своем Сене, совершенно забыла. И Сеня бросился прочь, машинам наперерез.

Сеня, я ничего ему не объясняла, я пробыла там ров-

но столько, за сколько можно успеть отдать пакет и выслушать «картошка-то-уже-остыла», а еще произнести «пока» и чмокнуть человека в щеку. Сеня, скажи, о чем нам с Гришей говорить, если там уже не земля, что-то другое, а значит, и курить можно что угодно, и уводить школьников в подполье, и вставать на подоконник, говоря жене, у которой как раз начались схватки:

– Если вызовешь «скорую помощь», я прыгну.

В тот момент Грише казалось, что нельзя открываться миру, надо жить потаенно и ребенка никому показывать нельзя. Нет уж, пусть рождает дома и болеет заражением крови, которым она и заболела потом, да? Только чудом ее спасли. Потому что кто-то все же решил тайно от Гриши вызвать «скорую», и врач сказал, что еще два часа – и было бы поздно.

Сеня, тут невозможно сказать «да» или «нет», осудить, назвать это «хорошо», «плохо», потому что это другая планета, а мы-то здесь. Мы не понимаем, как так, чуть не уморил жену, а потом бросил ее с двумя детьми, один из них трехмесячный младенец. Но он просто на другую переехал планету, а у нас плохо с географией, астрономией, вот и все.

Гриша, возьми меня с собой, по старой дружбе. Я знаю, ты мне не откажешь, мы же все-таки знакомы уже семнадцать лет, посади меня в свой воздушный корабль, пристегни потуже ремнями. Ну, подумаешь, перегрузки, зато потом! Невесомость. Это так странно и смешно, только есть неудобно, улетают помидорчики, маленькие ярко-красные шарики, а

ты их хватать, и быстренько в рот. Проблемы и с умыванием, вода течет не туда, неправильно вода течет в космосе, но это тоже все решено уже, учеными эти проблемы, справимся, Григорий, лишь бы побыть без всех.

Но вместо космоса я еду на дачу, прямо в Пасху, сразу после утренней службы, чтобы до самого вечера и еще весь понедельник готовить к сезону дом. Мы готовим его вместе с мамой – и из каждой щелочки, завалившейся за диван пыльной соски и электрической мелодии пластмассовой лунны с огоньками выпрыгивает прошлое и позапрошрое лето – невозможное, с бессонными ночами, Лялей, а потом Митей в коляске, вечным томлением духа и желанием быть где угодно, только не здесь, – самое светлое время на свете. Когда ребенок весь, насквозь еще твой и жадно пьет твое молоко. Он какой-то маленький непонятный зверь. Он моргает глазами, шевелит красными пальчиками и все время издает звуки – по-котячьи чихает, сопит, похрапывает, срыгивает, пукает, несносно и неутешаемо вопит, но каждый издаваемый им звук – труба ангела. Смолкли те трубы и больше не звучат. Смолкло вообще все, стихло намертво. И я говорю маме за ужином, который у нее, как всегда, такой вкусный, говорю между ложками рассыпчатой гречневой каши:

– Мам, а давай я завтра рано утром съезжу на полденька в одно место, а потом вернусь.

И мама кивает, потому что любит меня больше всех на земле, даже боится спросить, в какое место, но я говорю са-

ма.

– В Зосимовский монастырь. Тут рядом.

В этом не так давно открывшемся монастыре поселился нынче старец, что за старец и откуда – неизвестно, но прозорливый. Несколько разных человек говорили мне про него в последнее время и сильно его хвалили. Рассказывали, что отец Василий – настоящий подвижник, принимает народ всегда, в будни и праздники, перерыв делает только на ночь и время служб. Говорили, что он «помогает». И пока я ползаю на коленках и мою в детской и на террасе полы, мне кажется, что, если перед этим батюшкой-богатырем поставить свои связанные в белый узелок проблемы, он положит их на ладонь и щелкнет одним щелчком в бездонное небо, в бесконечную синюю вечность.

Пустое шоссе, сорок километров проскакиваю за полчаса. Тяжесть лежит на сердце привычной тяжестью, никакой Пасхи я не ощущаю, ставлю машину у каменной белой стены. В монастыре вкусно пахнет куличами и деревянной стружкой, монастырь восстанавливается вовсю, прямо у входа небольшой строительный дворик – брусья, куча цемента, накрытого целлофаном, щебенка и кирпичи. В центре большая зеленая клумба, на ней тюльпаны и нарциссы в бутонах – вот-вот расцветут. Седой человек в пыльной черной рясе в ответ на мой вопрос машет рукой направо, там, в здании, напоминающем сельскую школу, старец принимает. Даже сегодня, несмотря на праздник и вчерашнюю длинную пасхальную службу!

Поднимаюсь на второй этаж, занимаю в просторном, действительно школьном коридоре очередь. Слава Богу, на Пасху все празднуют, в очереди всего несколько человек. Две женщины с простыми, немного настороженными лицами, явно из местных и, кажется, подруги, полная, то и дело побряхтывающая бабуля, которая сидит на единственной здесь табуретке, худенькая, высокая девушка в юбке до пят, со светлой косой из-под красного платка и ясным взором, похоже, приехала издалека, юноша с нездоровым блеском в глазах и редкой темной бородкой, чем-то он очень похож на Гришиного жильца. Слушаю разговоры – кого-то отец Василий исцелил, вылечил от страшной болезни, неродице вымолил младенца, а еще кому-то предсказал, как все в ее жизни будет, и про сына ее все-все правильно сказал, вот кто мог подумать, а его и правда искалечили в армии, били там, видать, по голове, зато как вернулся, такой стал «верушший», такой молитвенный... Это рассказывает толстая бабуса, часто вздыхая и словно бы всхлипывая. Я перестаю слушать и отключаюсь.

На человека в среднем уходит не так уж много – десять-пятнадцать минут, очередь медленно, но движется. Через час белую дверь открываю и я.

Просторная комната, явный школьный класс: высокие окна, много света, вдоль стен расставлены тяжелые школьные стулья на железных загнутых ногах, парт нет. Все стены завешаны иконами. У одной в углу горит лампадка. У окна стол,

обитый светлым ДСП, на столе – крашенные яички, шоколадные конфеты «Коркунов», упаковка киндер-сюрпризов, три белых конверта, наверное с деньгами, обувная коробка, в которой из-под сдвинутой крышки видны новые мужские тапочки. Пасхальные дары посетителей. У стола стоит высокое офисное кресло. В кресле сидит старец. Большой, полный, в светло-розовой рясе, он сидит за столом, точно пожилой школьный учитель, подперев голову кулаком. Поднимает глаза и смотрит

бес-
ко-
не-
чно

уставшим взглядом. Но особенно меня удивляет цвет его волос – медный, с красноватым отливом. Волосы завязаны в хвост. На вид старцу не больше шестидесяти.

– Как вас зовут?

Ну вот, даже имени не угадал. Прозорливец.

– Маша.

– Я вас слушаю.

Но я ничего не говорю. Не могу. Вдруг не верю. Ну, бабушка, ну и что? У нас таких своих в Москве пруд пруди, так же смотрят и такие ж усталые. Как, чем он может мне помочь, тем более и проблемы-то все мои – одни выдумки, никто не заболел, не умер, никто не сошел с ума. Семья, дети. Объяснять ему, что я больше не в состоянии жить, жить

своей прежней жизнью? Но где он найдет мне другую? Говорить, что страшно, запредельно устала и больше не могу? А он не устал? Зачем было ехать сюда, стоять в очереди, бросать уборку на маму? И я произношу еле-еле, из одного чувства долга, из вежливости, потому что нельзя же стоять и молчать!

– Мне все время ужасно грустно. И во мне почти не осталось веры...

Объяснять дальше нет сил.

Старец улыбается. И закрывает глаза. Долго, долго молчит. Кажется, он просто дремлет. Я подхожу чуть ближе, встаю напротив, возле самого стола, слышу ровное, немного сиплое дыхание – и правда заснул. Проходит еще несколько мгновений, за окном сбивчиво, весело начинает бить колокол, сегодня всем разрешают подняться на колокольню. И батюшка открывает глаза – они зеленоватые в темную крапинку. Смотрит рассеянno – кажется, он и не заметил, что задремал. Помнит ли он, что и кто я? Но кажется, да.

– Давайте-ка помолимся вместе, Машенька.

Мы встаем перед иконой с лампадкой, он поет из пасхального канона про Пасху, таинственную, всечестную, и в конце пения делается совсем красным, достает платок, шумно (отличная акустика – школа!) сморкается – всплакнул.

– Ну что ж, Машенька, Христос воскрес.

– Воистину воскрес.

Мое время истекло, отец Василий благословляет меня и

отпускает.

Ничто не свершилось, даже крошечного сдвига не произошло, просто повстречалась с, кажется, верующим человеком, у которого есть силы слушать тысячи людей, целыми днями, даже в самый главный христианский праздник, чего там, героический, конечно, батюшка, ну и привет.

Я жму на газ. Мне стыдно, что я бросила маму ради глухой надежды решить внутренние проблемы за одну секунду! с помощью старца...

Старцы все перемерли!!!

Старцев на свете нет!

Они!

Давно!

Сдохли!

Христиане скушали!

Их!

На обед!

Я кричу мой злобный хип-хоп в открытое окно машины, и ветер разносит его по бескрайним просторам святой Руси. На мчащемся на меня небе ни облачка, голый синий апрельский простор – солнце осталось позади и светит в спину.

Уже подъезжая к даче, я немного прихожу в себя и думаю – по этому медному батюшке, по тому, как глубоко и проникновенно он пел, по тому, как плакал и совсем просто сказал «Христос воскрес», видно: его жизнь – Бог. Ради Него он и терпит этих бесчисленных разновозрастных женщин, в

центре его планеты Христос. И у людей в очереди, кажется, тоже. Они любят Его, хотят Его... Смирение, терпение, помыслы, очищение, преодоление, Бог дал, Бог взял, помолилась – и все за его молитвы прошло; тогда я решила: буду читать каждое утро канон Божией Матери, а через три недели точно рукой сняло; и мы договорились с друзьями за неделю прочитывать вместе Псалтырь, каждому получилось две кафисмы, а вскоре услышали, что папе легче, через месяц его выписали совсем. А он меня вдруг как спросит: «Ну, и где твои дети?» А у меня никого и не было тогда, только через год родились, и правда, сразу «дети», родилась-то двойня. Мне одна женщина рассказала – надо с могилы взять немного землячки, положить в пакетик и эту землю каждый день прикладывать к больному месту...

Не верю. А если и поверю, все равно не поможет, слишком легкий путь. Нет уж, живи, мучайся, кукуша, – так называл подружку ее муж, а я называю себя, потому что кто еще меня так назовет, – чтобы каждый день, каждую секунду было невыносимо, чтоб трудно было дышать, ноги отказывались идти, руки делать, голова думать, сердце любить – все равно, каждый Божий, напомним, день. Хочешь не хочешь, пробивай башкой эту безнадежность, прогрызай в глухой стене беспричинной муки дыру. И сплевывай отгрызенное сквозь зубы. Называется – честно нести свой крест.

Мама кормит меня поздним обедом, дом готов, но нужно еще разобраться на кухне, перемыть всю зимовавшую здесь

посуду, вытереть шкафы и вымыть пол, в огороде тоже полно дел, и мама решает остаться еще на день, а меня уговаривает ехать домой, к детям. Частично разбираюсь с кухней, вечером возвращаюсь в Москву. Дети бегут по коридору, кричат «Мама!», они соскучились, тыкаются мордочками в ноги, по очереди беру их на руки, целую макушечки. Вкусное, пахучее тепло хлеба. Вдыхаю, забываюсь на миг, раздается телефонный звонок. Сеня берет трубку, передает мне – «Гришан».

– Маша?

– Привет.

– Христос воскрес.

Ладно, можно еще пожить.

Химия «жду»

Всё начиналось с воздуха. Менялся его химический состав.

Что-то из него вынимали. Точно обтесывали потихоньку один, затем другой атом молекулы кислорода. Снимали легкую стружку. Работа шла незаметно, но споро! – вскоре кислород исчезал вовсе, вытеснялся углекислым газом. Или каким-то другим, он не знал. Дышать становилось тяжелее. А газ все сочился да сочился сквозь – из-под закрытой двери, струился из щелей окон, прорезей паркета, невидимых вентиляционных отверстий в потолке. Постепенно он начинал его видеть: полупрозрачный беловатый пар без запаха, комнатной температуры, вроде бы безобидный. Но пар уплотнялся, превращался в синеватый дымок. Кутающий душу тесно, смертно. Травил.

Дымок был тоской по ней. Тоска нарастала, в кабинете уже нельзя было находиться! Дым ел глаза, летучими, но жесткими когтями драл горло – он одевался, почти бежал на улицу, заранее зная: бесполезно. Свежий воздух – как ни свеж, как ни пронизан ароматами весны, лета, осени – не растворит. Ядовитое облако не рассеет. Потому что оно стоит в нем угрюмым колом, давит на горло изнутри. В конце концов какая-то тонкая стенка внутри прорывалась, пробивая трещину, – и тогда душу заливало бешенство.

Задыхаясь в едких испарениях, он мечтал удушить и ее. Налечь всем весом, коленом – на грудь, нажать на горло, никаких подушек, играем в открытую – ощущая ее тело, ее тепло и сопротивление. Ладони одна на другой, горячая длинная шея, да кого теперь волнует ее длина, он усмехался – сонная артерия бьется, сопротивляется, хочет жить.

И тут она поднимала на него глаза. За миг до расправы. Глядела. Никогда не взглядом жертвы, нет! – только устало. Всегда с любовью.

Он сразу же отступал. Откидывал пятерней-убийцей нависшие на лоб волосы. Ладно, живи пока. Но шло время, отравы снова начинала действовать, и опять ему хотелось кусать, грызть ее зверем, не грызть, так хотя бы хлестать по щекам, пусть болтается ненужная голова, маша волосами. Причинить ей резкий, физический вред. Пусть повизжит немного. Или явится уже в конце-то концов.

Хотя можно было поступить еще проще – прострелить ей голову из пневматического ружья, что лежало у него в загородном гараже, где он хранил зимнюю резину – на всякий случай и по случаю же обретенное. Смотрать в гараж, бросить ружье на заднее сиденье, разрешение есть, вернуться и застрелить. А потом сорок дней спустя, сорок поприщ выжженной черной пустыни, она ему позвонит. Просто позвонит, усмехнется: привет, мол. И положит трубку. Положит трубку. Этого будет довольно – вполне! Он снова станет богачом.

Не помогало. Ни убийства, ни мордобой. Она все равно не звонила.

Наваждение продолжалось.

Голубая скатерть на кухне была она. Он скидывал скатерть, солонка изумленно летела на пол – пятна, пора стирать, жена пожимала плечами, но и столешницей, красивым правильным овалом под скатертью, тоже была она. И белыми занавесками в дурашливых цветных точках. И фиалкой в горшке. И свесившимся со стула пледом, кривыми черными клетками на красном. Снегом, который наконец посыпал.

Вот до чего он дошел. Идиот.

Бывший дьякон, инок Сергей, в миру Алексей Константинович Юрасов. Образование – медицинское высшее. Ныне – специалист по продвижению лекарственных препаратов крупной фармацевтической компании в аптечные сети, с неизбежными, требуемыми службой втирало-вым и преувеличениями. А как еще?.. Семья.

* * *

Двадцатитрехлетний, лохматый, недавно крестившийся раб Божий Алексей сидел на шумной автобусной станции в Калуге. С брезентовым рюкзаком за плечами, Иисусовой молитвой на устах, «Откровенными рассказами странника» на коленях, которые читал и перечитывал тогда взахлеб. Пришвартовался пока к широкой лавке в снующем людском мо-

ре, был выходной, суббота – все куда-то перемещались.

Ждал себе автобуса в Козельск, не видя, не слыша. Тут-то и появились эти... в платочках. Одна повыше, в очках, сутуловатая, светлоглазая, другая пониже и побойчей – с карими круглыми глазами и сама кругленькая, так ему показалось в первый миг. Простите, пожалуйста, а вы, случайно, не знаете... (та, что в очках, смущенно, но строго). Он знал. Так и покатили в Оптину вместе; по дороге не сразу, но разговорились. Потом втроем работали на послушании – тоннами чистили картошку, до боли в пальцах терли морковь, свеклу, рубили громадными ножами капусту и говорили, говорили без устали, без остановки – исключительно на духовные темы. Изредка маленькая вдруг прыскала, хотя обсуждали-то самое важное, но всегда этот прыск звучал кстати, он тоже смеялся в ответ – под неодобрительные взгляды не раз заставшего их за этим бессмысленным смехом отца Мелетия, сурового, пожилого монаха, главного по кухне.

Обе девочки учились в московском педу, робко мечтали уйти, может быть, в монастырь. Но кареглазой пока не разрешала мама: и правда, как я ее оставлю одну? – пожимала она плечами, – папа-то у нас давным-давно тютю. Высокая хотела сначала доучиться, но потом уж точно. Вот и рядом тут вроде должны были открыть женский, Шамордино, Амвросий Оптинский его опекал. По вечерам на длинных службах все трое исповедовали грехи за день отцу Игнатию, поражавшему их неземным видом и взглядом сквозь – сразу

туда. Куда надо.

Та, что в очках, была посуше и помолчаливей, она словно уже определилась и понимала, как ей жить дальше, куда идти. Маленькая, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся худенькой, просто круглолицей, ярко-румяная, с шаром мягких светлых волос под косынкой, которые то и дело мешались, непослушно скидывали платок, была птенец неоперившийся. Не смотрела – хлопала глазами. Все ей было интересно, все важно понять, крестилась-то она, оказывается, месяц назад всего! Несмотря на речи про монастырь, и сама, конечно, не понимала еще, чего хочет. И глядела на всех, вот и на него тоже, вопросительно, с такой славной, доверчивой надеждой. Отдувала, склонив голову набок, челку, складывала губы недоуменно, дыша невинностью, дыша чистотой и верой, верой и ему тоже. «Сестренка» прозвал он ее про себя. И с удовольствием отвечал на ее детские, прямые вопросы – он в православии прожил уже полтора года – ветеран.

Но на собственные вопросы не знал ответов и он. Его тоже тянуло в монастырь, к подвигам иноческим. Но если его призвание жить в миру? Как не ошибиться, как выбрать свое? Хотя и в миру можно было стать батюшкой, но тогда не стоит терять времени – надо поступать в семинарию скорей...

Однажды после длинной монастырской всенощной, закончившейся только к ночи службы, во время которой несколько раз он терял себя, словно растворяясь в небесном братском пении, Алеша вышел из храма, присел на стоявшей

здесь же скамейке. Передохнуть, ноги подкашивались, даже до их домика брести не было сил. Великий пост двигался к концу, и уже совсем другими запахами дрожал воздух, уже пряталась в набухших мокрых почках весна, и в потеплевшем ветре, и в раздвигавшихся светлых днях. Алеша устало глядел на выходявших из храма людей. И увидел Амвросия Оптинского.

Преподобный Амвросий вышел на улицу среди других. Пошел к нему. Такой же седобородый старичок со впалыми щеками, каким был нарисован на иконе, только сейчас он выглядел гораздо более худым, слабым. Был он в скуфейке и одном подряснике, несмотря на прохладу. Батюшка присел с ним рядом на скамью, да так близко, что хорошо видна была и его длинная белая борода, тоненькая, почти прозрачная, и висевший на груди серебристый крест, который просвечивал сквозь бороду. Черный подрясник его был ветх, на локте виднелась грубая штопка широким стежком. Серые глаза окружали мелкие морщинки и глядели очень устало, прямо в него, веки набрякли и были красными, точно и преподобный на службе изнемог. Или плакал? И еще Алеше показалось, что он явственно ощущает тонкий аромат ладана, но как будто и запах старости, лекарств... Хотя разве такое возможно? Видения разве источают запахи? Но спросил он совсем другое, как по писаному, как солдатик заведенный. Раз старец явился – надо спрашивать о главном.

– Что мне делать, отче? Остаться в миру или уходить в

монастырь?

Амвросий взглянул на него еще пристальней – и не ответил. Только все так же глядел и глядел прямо в глаза с выражением, полным сочувствия, совершенно родственного, бесконечного сострадания, неземного по силе, и одновременно с кротостью – такой же нечеловеческой, святой.

И от этого взгляда все откатилось прочь – другие вопросы, которые тоже начали было роиться в Алешиной голове, и выходившие из храма, крестившиеся люди, послушники, монахи, миряне, и мокрый весенний ветер, и слабый свет зажженных у ворот фонарей. Они посидели еще немного, так же молча и словно во сне. Алеша чувствовал, что от этого взгляда батюшки и от незаслуженной любви к нему по лицу у него уже текут слезы, внутри точно открылся источник слез, которыми он не управляет – сами собой они так и льют потоком. Наконец старец поднялся, Алеша встал тоже – преподобный Амвросий медленно и раздельно благословил его, глядя все так же немо и все тем же взглядом родного гостя из иного царства. Алеша поцеловал сморщенную старческую ручку, мягкую и теплую на ощупь. В ответ батюшка сам слегка ему поклонился и тихо побрел в сторону братского корпуса, пока не растворился во тьме.

Алеша рассказал о видении отцу Игнатию, тот слушал его с мягкой улыбкой, но без удивления и посоветовал никому больше об этом не говорить. «Не надо», – качнул он, все так же улыбаясь, головой. И добавил вдруг с подъемом, почти

восторженно: «Преподобный здесь, здесь, это и все сейчас ощущают, не один вы!»

Через два дня Алеше нужно было возвращаться в Москву. Прощаясь со своими новыми знакомыми, он снова плакал. Все сошлось, все слилось в эту минуту. Вот стояла перед ним эта девочка с наивными глазами, ставшая ему за эти дни любимой сестрой, вот ее милая, неразговорчивая подруга, которой он был благодарен за то, что она никогда не мешала им смеяться и разговаривать, и совсем уже близкая Пасха, и недавняя, почти обыденная встреча со старцем, убедившая его в близости неба, – и накрывшее его на следующий день после встречи покаяние никогда не испытанной прежде силы – крошечное, жгучее. После молчаливого общения с преподобным он понял, как сам-то он, сам далек от явленной старцем небесной любви, как плотно окутан коконом самомнения, самолюбия, высокомерия. И жажда быть чистым, быть простым, просто быть хорошим забила в нем живым, жадным источником, но к этому роднику прибивалось сейчас и другое – он хотел, чтобы все, что он чувствует сейчас, прощально, по-братски обнимая эту румяную, вечно удивленную девочку, – чувствовала и понимала она.

Когда Алеша вышел из монастыря и зашагал пешком к Козельску, сквозь еще не оттаявший, но уже беспечно щебечущий лес, он осознал смятенно: больше всего жаль ему оставлять не святую обитель (сюда он так и так вернется, видение старца явно означало призыв) – сестренку. Она была

вовсе не такой простушкой, как показалось ему поначалу, нет. В ней жил артистизм, задор, легкость... И много чего еще, чего он толком не понял, но с чем хотелось быть рядом, во что хотелось погружаться глубже и глубже. Как хорошо было с ней говорить! И прыскать на пару. Но и молчать.

Ничего, кроме ее имени и того, что она учится в Москве в педагогическом, на Фрунзенской, Алеша не знал. Даже телефонами они не обменялись – вроде как ни к чему. И в какой именно храм она ходила в Москве, он не узнал. Как мог? Не узнал.

Весну и половину лета Алеша провел в Москве, защищал диплом, получал зачем-то корочку, попутно избавляясь от вещей, книг, тетрадей, накопившихся за время учебы да и за всю жизнь, к чему это теперь? Ветхий человек, как эта старая одежда, кассеты с записями, изгонялся прочь, оставался в дальнем сумраке прошлого. Несмотря на твердое решение уйти в монастырь, Алеша очень хотел ее напоследок увидеть. Дважды подряд приезжал к пединституту утром, стоял в стороне, пытаясь разглядеть ее в толпе спешащих на занятия студенток – не ее саму, так хоть ее высокую подругу в очках; не разглядел.

После Преображения он уже ходил в подряснике, грубых ботинках, измученный, но счастливый, работая то на стройке, то в братском корпусе, то с корзинкой на грибном послушании в лесу. Было тяжело, ноги по вечерам не ныли, орали; не привык он столько работать телом, но все-таки было свет-

ло: они же делали общее святое дело – восстанавливали обитель из руин. И ребят подобралось много, таких же, как он, – молодых, полных сил, душу готовых положить ради родного монастыря и исполнения обетов монашеских. Однажды брат, обычно читавший на службе, сильно простудился, попросили читать Алешу. И оказалось, он читает очень красиво, внятно, – вскоре его тоже посвятили в чтеца.

В золотом стихаре он выходил в середину храма и ровно, с затаенным вдохновением (так ему казалось!) читал Псалтырь, читал Апостол. Солнце лежало на темной, шершавой странице. Книга была совсем старой, еще из тех времен. И только солнце знало и видело, кто читал по ней здесь, в этом же храме, сто лет назад. Державшие книгу пальцы заметно дрожали – между службами он выполнял теперь самую грязную и тяжелую работу: мыл, отскребал, выносил помои. Так отец Игнатий помогал ему бороться с тщеславием, мыслями о том, как хорошо он читает, как глубоко и выразительно звучит его голос.

А потом случилась эта история с благочинным. И почти сразу же с соседом по келье, которого он считал лучшим своим другом, впрочем, одно с другим было тесно связано. Постепенно вскрылись и другие детали – когда готовились к приезду митрополита и отец игумен совершил поступок... Но тс-с. Никогда Алеша не обнажал наготу братьев своих и никому так и не открыл ничего из виденного в те годы в монастыре. Но каждый случай оставлял сквозное ранение, и

вскоре весь он оказался изрешечен, а последняя история не прострелила его насквозь, нет, так и билась в нем много месяцев, почти год, пока не выжгла всякое желание оставаться здесь дальше. Тем более до конца жизни.

Из всех этих историй следовало, в сущности, простое: даже самые искренние здесь – слабые и грешные люди, способные и на подлость, и на предательство, и на любой человеческий грех. И это бы ничего, но ведь, в отличие от тех, кто жил за монастырской оградой, эти учили других. Батюшки, из которых один был... а другой... а третий... требовали от остальных, точно таких, как они, грешных людей, приезжавших в монастырь за советом мирян, невозможного. Проповедовали им бескорыстие, жертвенность, целомудрие, любовь к ближнему и Богу в непосильных пределах, точно забыв оборотиться на себя...

Четыре года спустя, уже в дьяконском сане, отец Сергей навсегда покинул обитель.

В миру он снова превратился в Алешу и почти сразу, как-то взхлеб, женился, на первой же засидевшейся в девках невесте, которую высмотрел на одном московском приходе. Тогда хотелось только тепла, тепла человеческого и женского, и крепкоголовых мальчишек-сыновей – нормальной, непридуманной, нефальшивой жизни в конце-то концов!

Его законная супруга, из многодетной православной семьи, была старше его на несколько лет. Она легко простила ему его прошлое и полюбила его точно такой любовью,

в какой нуждалась его неприкаянность и сиротство. Котлеты, борщ, клюквенный, с детства любимый кисель. Накормила, спать уложила. Год Алеша проплавал в ощущении длящегося блаженного отходняка и радовался, что может быть просто мужиком, принимать решения, заниматься ремонтом, зарабатывать, есть заслуженный ужин, обнимать жену; в церковь, конечно, не ходил вовсе — и жене доставало такта его не трогать.

Хотя поначалу ему часто снилось, как он служит, — как уже дьяконом выходит на солею и провозглашает великую ектению — тихо, сладко теряя себя, становясь частью возводимого молитвой космоса. Вот храм сей, вот пресвитеры его, дьяконство, иноки, причт, вот богохранимая страна наша, взгляни, Господи. Власти и воинства ея, вот они сидят в своих кабинетах, лысые, важные, плотные и маленькие, как на подбор, подписывают бумаги, а вон солдаты маршируют на плацу, и зябко им, и тошно, но покорно отбивают ать-два, смотри. А вот град сей и другие города, городки и деревеньки вокруг, а вот и воздух, которым мы дышим, растут деревья, зреют плоды, вокруг моря с плавающими и путешествующими, больницы с страждущими, темницы с плененными. Капля по капле весь мир человеческий и земной он собирал и приносил Господу, к подножию престола Его.

Только б не сбиться, только бы голос не задрожал.

Алеша просыпался в тревоге, полдня потом ходил сам не свой. Но через полтора года родился наконец сын. Спать сра-

зу пришлось меньше – он жалел жену, вскакивал, баюкал их мальчика – и спал уже по-другому, дергано, вслушиваясь и сквозь сон к пыхтению в кровати – без сновидений. Через год родился следующий, этот был тихим, словно понимал, что младший и что на него уже нет сил, ни у матери, ни у отца, сопел себе ночь напролет.

Он встретил сестренку в поезде. После женитьбы его прошло около восьми лет. Алеша разглядел ее уже на перроне, возле собственного, второго вагона. Но оказались они не только в одном вагоне – в одном купе. Он узнал ее сразу же, когда она протягивала билет проводнице, стоя к нему впол-оборота, и огорчился: теперь она и в самом деле располнела, волосы отрастила и собирала в унылый пучок, возможно, от этого золотистый оттенок из них ушел – блеклый, никакой цвет. В уголках глаз, у губ проступили морщины – она выглядела старше своих лет. Он вошел в купе вслед за ней, неторопливо, глядя ей прямо в лицо, поздоровался. Она его не узнала, ответила вежливо, равнодушно. Тогда он назвал ее по имени. Она вздрогнула и так знакомо округлила глаза, заморгала. Оптина, самое начало, Великий пост, весна, помните? – она помнила, помнила! Оживилась, сразу помолодела. Заговорили. Нет, совсем не так, как когда-то, осторожней, сдержанней, обходя возможные углы, но когда он пошутил раз и другой, она прыснула точно так же. Даже кулачок подставила, словно смущаясь, как и тогда. Теперь он уже ясно видел в ней ту самую всему удивлявшуюся девочку,

которая тоже никуда, оказывается, не делась. Только теперь все, что и тогда было в ней – любопытство, веселье, задор, – точно осолилось, и эта соль, эта новая горечь сделали все в ней определенной, законченной и... совершенной.

Она давно была замужем. Старшему ее мальчику уже исполнилось девять, младшему – два, всего у нее было четверо детей, в середине – две девочки. «Обычные православные штучки», – вздохнул он про себя, потому что видел: она несчастна, хотя, конечно, любит своих детей. Но они не сделали ее счастливой, потому что счастливой женщину делают не дети. Она упрямо избегала упоминаний о муже. Даже когда на прямой его и, он признавал, не слишком деликатный вопрос, но как было удержаться! – рассказывала, как выходила за него, все равно не называла его никак, точно он и не участвовал в этом: «Тут я получила предложение, от которого сначала отказалась, а потом думала-думала да и согласилась, мама очень хотела, все уговаривала меня... отец Александр нас и обвенчал»... Алеша все же решился:

– Ну, и кто же он, кто твой избранник?

Она только рукой махнула и ответила странно: «Наш папа», знакомо пожала плечами и не захотела продолжать. Он не посмел расспрашивать дальше.

Он ехал в командировку, она к бабушке – та была совсем плоха, собралась умирать и звала любимую внучку попрощаться. Только один пассажир сидел с ними в купе, возвращавшийся домой молодой стриженный под ноль паренек, с

наушниками в ушах, в странном полосатом пиджаке. Паренек почти сразу же забрался на верхнюю полку да так и лежал там – листая рекламную газетку и поглядывая в окно. Когда он поворачивал голову, было видно, как он шевелит губами – подпевает. Под столиком стояли его ярко-вишневые лаковые ботинки.

В начале ночи, на очередной станции, ботинки утопали прочь. Они продолжали говорить. Поначалу еще делая вид, что говорят так же, как и при соседе, но насыщенность разговора изменилась, едва они остались вдвоем, все сейчас же усилилось – открытость, понимание, чуткость. Только под утро обоих сморил сон. Прощаясь, бледные, невыспавшиеся, оба знали: началось. Что-то, в чем оба нуждаются и чего оба хотят. Как хорошо, что встретились – наконец!

* * *

Странные у них сложились отношения. И пока он уверял себя, что на самом деле никаких отношений нет, что все это – только нелепость и бабьи басни, прошло еще пять лет.

Первые полгода они только созванивались, обсуждали ее старшенького, второклассника, который все терял, однажды даже забыл в школе портфель, и костюмы младших девочек на садовский праздник, и ревность их к маме, про маленького почти не говорили, у него не было пока проблем.

Как это всплыло, этот учебник?

Она вздохнула в телефон:

– Федя опять учебник где-то посеял. Им в школе выдали, недели не прошло, нет! И ни в одном магазине этого издания уже нет. Неужели ксерить придется? И как его потом в школу носить, этот ксерокс огромный?

Федя потерял учебник французского, Алеша расспросил, что за издание, с какой картинкой на обложке, и пообещал достать. Поискал в Интернете, нашел и через два дня уже ехал с голубеньким трофеем в пакете. Он рулил, погрузившись в пустоту, не думая ни о чем, но не успела она сесть к нему в машину, как Алеша начал ее целовать в лицо, в губы – ласково и восхищенно, не оставляя ей выбора. После мгновения растерянности она откликнулась так, будто только этого и ждала, затем и явилась. Так начался их первый год тайных свиданий, год влюбленного открывания друг друга, полный невыносимой, но такой необходимой зависимости от встреч, эсэмэсок, перезваниваний, всегда кратких... Но несмотря на то острое счастье, которое обрушили на него эти отношения, ни одной абсолютно счастливой встречи у них все-таки не было – из-за нее. Каждое свидание было пропитано ее тоской, ее молчаливым вопросом «что я делаю? как смею?». Ничего подобного она не произносила, но он читал это в ее глазах – особенно отчетливо после, когда все уже было позади.

В своей тоске она жила одиноко. Это было «что делаю я?», и он не понимал, как вырвать ее из сумрачного царства бес-

полезных угрызений, как хотя бы раздвинуть ее замкнувшееся в себе, сжавшееся в скулящий комоч «я» до «мы». Это делаем мы. У меня тоже семья. Тоже сын. Это мы. Нас – двое. Единственное, на что он был способен, повторять ей все то же: давай будем вместе всегда. Давай будем вместе всегда. Давай!.. Это казалось так просто. Это был единственно возможный исход. Но она не хотела уходить от мужа. Однажды обмолвилась: понимаешь, я не могу. И замолчала. Не можешь? Но почему?! Нет, ни словечка больше. И по-прежнему не хотела о муже говорить. Никогда. Как и тогда в поезде, тщательно обходила эту тему стороной – за все это время помянула о нем только раз, сказав, что человек он тяжелый. Да ты же не любишь его, ты же... Давай поселимся в большой трехкомнатной квартире, снимем где-нибудь на окраине, в новом, недавно отстроенном доме, там совсем другие размеры, да и цены, я буду работать, ты растить наших детей, старых и новых, мы ведь обязательно родим еще новых, да?

Но все эти разговоры только удаляли его от нее. Едва он начинал звать ее в побег, особенно вот так конкретно, рисуя очертания их квартиры, со дна ее глаз поднималась отчужденность, она смотрела на него словно со стороны, чуть не с досадой. Она не могла. Не могла так. Она никогда не говорила «а как же дети?», но он угадывал их имена, имена всех четверых – Федор, Полина, Таисия, Серафим – в этой наступавшей замкнутости. Дети не должны были наблюдать разрушение семьи. «Хорошо, пусть наблюдают разрушение

матери», – цедил он вслух, точно в ответ ей, но она будто не слышала, не откликалась.

В конце концов он затаился. Тем более она по-прежнему соглашалась встречаться. Так часто, как только получалось. Тогда получалось два, изредка три раза в месяц. Он был счастлив. Он тоже пока не уходил от жены, но жена точно перестала существовать. Сыновья нет. Сыновья и тогда нет. Водил их на гимнастику, играл, со старшим начал вместе читать книжки – вот-вот в школу!

И так бы и шло, он привык уже так, пока спустя почти год, безумный, взвинченный, полный плачущего обожания, она не провозгласила вдруг новые правила. Такие бесчеловечные, что сначала он не поверил. Разозлился – но не поверил. Надо, сказала она, сократить количество наших встреч. И не просто сократить...

До этого он был главным, но с минуты, когда правила были объявлены, спокойным, уставшим голосом, в номере ветхой привокзальной гостинички, снятом на два часа (которые уже истекали!), – главной стала она. И вот уже который год – второй? третий? не может быть – начиная с первых чисел сентября он то и дело проверял, не забыл ли дома мобильный, не получил ли незамеченных сообщений, и особенно внимательно проглядывал пропущенные звонки.

Именно с этого времени и следовало ожидать ее появления. Ее непредсказуемость укладывалась в три последние месяца года.

Правила заключались в следующем. Встречаться раз в год. Это было правило номер один.

– Я понял, понял. Значит, и каяться придется всего раз в год? Так ли? Но тогда давай уж подгадаем наши встречи под Чистый понедельник! – язвил он, натягивая рубашку и пока лишь посмеиваясь, еще не подозревая, что она всерьез, она правда надеется все это исполнить, доварить эту кашу на густом православном безумии. – Под начало Великого поста, а? К Пасхе как раз хватит времени очиститься.

Она молчала, даже не смотрела на него.

– Ты, может, думаешь, у Бога там счеты, да? Часы? – он повысил голос. – Думаешь, Бог считает, сколько дней прошло, и живет по земному календарю? Что Ему твои раз в год, Ему, у которого тысяча лет как один день?

Она сидела в кресле напротив, уже одетая, чуть отвернувшись, глядя в окно, за которым серебрилось зимнее московское небо, на удивление солнечное, и по-прежнему не отвечала, точно не слыша. Когда он закончил говорить, она вновь повернула голову и продолжила как ни в чем не бывало... Интересно, она и с детьми своими так же? Так же их воспитывает? Именно в эту минуту Алеша подумал, что совершенно не знает ее, что до сих пор смотрелся в зеркало.

Правило второе – звонить будет она. Звонить со своего, хорошо известного ему номера, но отныне номер этот будет использоваться тот самый единственный раз в году – в остальное время сим-карта уляжется в потайном месте, что-

бы ждать своего показательного выступления целый год. Да, она *потеряет* этот телефон, тот, что у нее сейчас, чтобы купить новый, новый телефон и новую симку, а старую спрячет до следующего года...

Ему уже не хотелось шутить, иронизировать. Пусть объяснения эти смехотворны, сама подробность их вывела его из себя. Как она все хорошо продумала! Даже про сим-карту – это чтобы он, не дай бог, не сорвался, не позвонил! Дура! Он и без всех этих хитростей не позвонит. Никогда. Завтра же найдет себе понормальней.

Он ходил по тесному номеру, уже не сдерживая гнев, – половицы отчаянно скрипели, когда здесь в конце-то концов последний раз делали ремонт?! Наконец он остановился, скрип послушно замер.

– Раз в год – это все равно что ни разу. Это значит никогда. Я понял. Разбегаемся. Прощай.

Он хотел добавить что-то еще и колебался, но она уже кивнула, встала. Понимаю. И все-таки я тебе позвоню. Сказала, уже не оборачиваясь, мимо.

Стянула с вешалки пальтецо, подхватила сумочку и вышла. Из дряблого гостиничного номерка.

Так в январе 2009 года она столкнула его в ледяную яму. Тогда-то он и пережил все это впервые – превращение воздуха в яд. И попытался вышибить клин клином – глушить боль спиртом. Отрава на отраву – и помогало, каждый вечер он превращался в краснорожий, лыка не вязавший бес-

чувственный мешок, к ужасу жены, которая все пыталась его уговорить, все расспрашивала. Кончился этот ежевечерний марафон неприятно – сердце, и до того не идеальное, устроило бунт; увезенный на «скорой», почти месяц Алеша провел в больнице. Постоянная боль, беседы с соседями по койке, мерная, но суетливая больничная жизнь погрузила его в новые заботы – анализы, кардиограмма, капельница, физиотерапия, отложенная шахматная партия с Миронычем из шестой палаты, сколько дать врачу, как лучше отблагодарить медсестер? Он научился радоваться просто тогда, когда боль стихала, не забывая, конечно, отмечать про себя, что здесь не только не тоскует о ней, но даже ее не вспоминает. Он вышел из больницы, когда уже наступило лето. Все распустилось, оказывается, тут, на воле, все цвело, а вишни в парке возле дома, где он гулял с сыном, уже осыпались. Он дышал спокойно, свободно. Полной грудью. Он был исцелен.

Она позвонила намного раньше, чем обещала, в солнечный сентябрьский денек. Он не ответил, наслаждаясь обретенной силой, но прошло всего несколько минут, и он начал ждать перезвона, он был уверен – сейчас перезвонит! А он снова не откликнется. Она перезвонила только через сутки, в течение которых воздух вновь сделался разреженным и вдохнуть его полной грудью стало невозможно. И уже через час после этого второго наконец раздавшегося звонка он сжимал ее крепко-крепко, в собственном доме, на родном диване, днем, пока не было никого, а она медленно говорила,

словно сквозь забытие: «Ты. Все внутри меня – ты. Ты один, всегда. И это так светло. И это так страшно». Девять месяцев терзаний утонули в пресветлой лазури почти летнего дня.

Так и пошло.

Год он жил семьянином, благородным доном, мужем и отцом, чтобы однажды отправиться в короткое плаванье, на остров лазури. Хорошо бы, конечно, было жить этот год не помня, не ведая об острове, каждый раз принимая его как неожиданное чудо, но это было, увы, невозможно, никак. Конечно, он пытался найти ей замену, но выяснилось очень быстро – лучшая ей замена – жена. Славная, теплая, любящая. Не подозревающая ни о чем. Можно было продержаться на жене, можно. И он держался, пока не наступало неизбежное – скатерть, солонка, газ.

Он, медик, узнавал симптомы и сам ставил себе диагноз: отравление солью тяжелых металлов. Свинец, именно свинец, не ртуть, не кадмий. Свинец, распавшийся на коллоиды фосфата и альбумината, циркулировал по нему, оседая смертным грузом в костях, печени, почках и головном мозге. Свинцовый яд копился и все непоправимей, с каждым годом все глубже отравлял его изнутри. Каждый следующий раз после разлуки нехватка воздуха наступала раньше, хотя и прежняя острота переживаний притупилась, зато прибавлялись новые симптомы. Он уже не только с трудом дышал, он не мог быстро двигаться, легко ходить – нужно было пробиваться сквозь постоянную тошноту, тяжесть. Как-то раз в

припадке малодушия (в какой это было раз?) Алеша взвился – в подвале их офиса работал тренажерный зал и стояли весы. Улучил минутку и забежал проверить! Не физическая ли это в самом деле тяжесть, не поправился ли он, не потяжелел? Нет. Оказалось, он даже похудел немного и весил меньше своего обычного веса. Но тогда почему бесплотные желания, ощущения, а значит, повторял он себе, чтобы окончательно не свихнуться, значит, не имеющие веса, обретали свойства материи? Повисали неподъемной взвесью в крови? Как это могло быть?

Но были и приобретения. Уже ко второму разу он научился мысленно выпаривать свинцовые частицы из воздуха, соединять их в сплав, тяжелый слиток, который бросал в рюкзак. Рюкзак закидывал за спину. Пусть полежит, так все же намного легче, легче передвигаться, потому что он пойдет себе дальше, пешком. Да, он и был в путешествии, вечным странником, бредущим к своему декабрю. Несколько дней слиток его не тревожил, пока все не начиналось заново, но эти дни были отдыхом, хотя одновременно с победой над воздухом и собственным дыханием, все вокруг окончательно угасало, делалось вовсе уж пресным на вкус, исчезали оттенки, краски – бледное, стальное бесчувствие без вкуса.

И тогда он написал ей письмо. В безумной надежде. Полную ерунду. Дождь пошел. Снег пошел. Первый снег. Последний. Первый дождь.

Сообщение так и зависло, ожидание сведений о доставке

все длилось. Сим-карта лежала в белом конверте в ящике ее стола. И опять он сходил с ума и заклинал, молил этот твердый прямоугольничек хоть ненадолго запрыгнуть в телефон и ожить, отозваться! Спустя месяц он написал еще одно, такое же бессмысленное послание, и снова молил, молил. На этот раз мольбы подействовали, – сообщение оказалось доставлено немедленно. Едва он увидел вспыхнувшую зеленую галочку возле конверта, как тотчас понял, что попал в ловушку. Вентиль открыли, воздух снова начал поступать в легкие свободно, краски засияли, он дышал, видел, жил, но ощущал себя в клетке. Все того же ожидания. Ведь теперь он будет ждать ответа! Теперь ему дико хотелось еще и позвонить. Он терпел беспредельный день, а к вечеру позвонил – естественно. Абонент не отвечал. В какую прорезь ему удалось протиснуться, кто получил его письмо? Так никогда он и не узнал, потому что, когда они наконец встретились, было не до выяснений.

В позапрошлом году звонок раздался уже перед самыми ноябрьскими праздниками и застал его в магазине, где он выяснял отличия одного «Самсунга» от другого, так и не выяснил, вышел в середине разговора с продавцом, пошагал с прижатым к уху телефоном на улицу, слепо, по Кожуховской набережной, в сторону Павелецкого вокзала, как всегда удивляясь: мир преобразился и засиял – маленькие белые колючки, пронизывающий ветер, слитые с ее голосом, были не счастьем, нет, были глотком жизни.

Год назад миновали все сроки, а она все не появлялась.

Он терял надежду постепенно, пока к началу декабря не осознал: ее больше нет! Вот почему она не звонит. Нет в этом городе, в этой стране, на этой земле. Умерла. Но отпустить ее он был не в силах, и Алеша начал молиться – впервые с монастырских пор, всхлипывая, малодушно. Даже заехал в церковь, чтобы подать записку за здоровье, и ждал, ждал вопреки очевидно давнишним ее похоронам. Бродил по царству мертвых, слепо искал ее тень, не находил. В тот год к безвоздушию прибавился дымчатый сумрак в глазах, даже когда солнце сияло – все было подернуто тонкой пленкой, он тер и тер глаза. Помутнение хрусталика? Но к врачу даже не пошел, слишком устал. И впервые подумал о смерти как о единственном и таком естественном выходе, и впервые спокойно и сознательно ее захотел.

Она позвонила 26 декабря, сказала, что болела, лежала в больнице и что встретиться сможет не раньше чем через месяц. При первых же звуках ее голоса муть в глазах обратилась в прозрачность, легкие задышали в полную силу. Он готов был подождать, конечно, и этот новый месяц ожидания дышал легко, видел ясно. Болезнь ее была серьезной, но не к смерти, они встретились в самом конце января – и снова все было лучше, чем прежде, просто потому, что они не виделись год и можно было прожить новые десять месяцев до новой встречи.

И вот они снова истекали, кончался сентябрь, и он нерв-

ничал. Клял ее дурацкие высосанные из пальца, из Ванек-встанек, Тургенева и Бунина (так он однажды и ей это сформулировал) правила.

Но когда наконец получил эсэмэску, с ее номера, перезвонил и слышал ее голос – снова забыл все. Как обычно. Действительно нелепость, действительно невозможно так жить, но вот ведь жили и не придумали, как по-другому.

На этот раз она назначила ему свидание в дачном подмосковном домике, недалеко от Москвы. Она отправилась туда вполне официально – накануне сторож сообщил, что в дом их, похоже, залезли – окно выставлено, хотя на двери замок. Она поехала разбираться.

Алеша бросил машину возле шоссе и пошел пешком, чтобы не привлекать внимания соседей, если они случатся. Зима выдалась малоснежной, снег едва прикрыл дорогу, даже сугробов не намело. Под ногами хрустел ледок, шагалось бодро. Он шел мимо пригорюнившихся за заборами, старорежимных генеральских дач, деревянных, из прошлого века – и хоть бы кто перестроил, поставил новый дом – нет! На этой улочке стояли сплошь ветераны – двухэтажные, с высокими окнами, кое-какие с балконами даже, послевоенная роскошь – но ветхие, словно рассыпающиеся на глазах. Каждому второму хотелось подставить плечо – снять облупившуюся краску, покрасить заново, поднять просевший фундамент, перекрыть крышу, заменить скрипучие двери.

Ее дом он увидел сразу – самый зеленый, так она сказа-

ла. Он и правда выглядел свежее соседей – хотя был из того же полка. Из трубы вырывался легкий, тут же уносимый ветром дым. Алеша прошел по участку, поднялся на крыльцо, постучал – она уже стояла на пороге, одетая, в красной распахнутой куртке, с тряпкой в руке, глаза сияли – и опять оказалась немного другой, чем он ее помнил. Не старше на год, нет, но на год иная.

В доме стояла нежилая прохлада, и хотя печь топилась, раздеваться не хотелось. Ледяным тянуло из дальней комнаты, там вор выставил стекло. Унес он только макароны, консервы и несколько теплых вещей. «Это был кто-то очень голодный и замерзший», – улыбнулась она.

Сегодня у них было не два и не три часа – целый день.

И первый раз за всё то время, что они встречались, они пожили семьей.

Он принес из колонки на краю общей улицы воду. Колонка была припорошена снежком, ни следа человеческого – слава богу! Она поставила на печку закопченный чайник. Он заколачивал фанерным листом выставленное вором стекло – она придерживала фанеру, подавала ему гвозди, все время благодарила. Если бы не ты... Он не отвечал, не хотел, хотя странность сквозила – работа мужская, почему сам хозяин не приехал, отправил жену? А если бы вор всё еще прятался здесь? Или это она уговорила мужа, имея в виду их свидание? Но Алеша ничего не спрашивал, стучал себе молотком, поглядывая на нее, на развешанные по комнате, пожалуй, в

избытке иконы, — и, вгоняя в два удара последний гвоздь, внезапно понял. Понял, кто ее муж. Да священник же. Она — матушка. Вот оно что. И не потому только, что детей много, что икон невпроворот, а по всему сразу — множество накопленных за эти годы мелочей сейчас же получили объяснение. Вот почему «не могу» развестись, не положено им, батюшкам — позор.

Спрыгивая со стула вниз, он громко и освобожденно выдохнул. И сразу же был ласково подхвачен вопросом «устал?». Что ты, я полон сил.

И рубил дрова во дворе, принес березовые полешки в дом, ссыпал у печки. Она кормила его привезенными из Москвы необыкновенно вкусными щами, ухаживала — в своем духе — невесомо, легко, с улыбкой. Он любовался. Она и правда была совершенна. Взлеты рук, маленькие розовые уши и облако волос, сияющее на скромном зимнем свету, — наконец-то она отпустила их на волю. Полупрозрачная, лимонная занавеска на окне, горка дров у печи, стол деревянный, темный, на чуть вывернутых резных ногах — старше дома, стеклянная вазочка для сахара из его детства, два куска черного хлеба, бисер тмина на дереве. Заснеженный сад за окном. Так и будет выглядеть его рай. Если умирать, то прямо сейчас, здесь, подумал он неожиданно, но совершенно спокойно.

Уже незадолго до исхода, до окончания этого, этими небесами, лесами, садом подаренного, дня Алеша заплакал.

Что ты?

Он не ответил. Он не мог сказать, что с той же ясностью, с какой когда-то различал заштопанный локоть подрясника преподобного Амвросия, с какой осознал сегодня утром, кто ее муж, теперь видит: прощание. Больше они не встретятся, никогда.

Она отказалась ехать с ним, процедила что-то вроде «я на электричке, меня ж на вокзале будут встречать», подобрал ее только до станции – и помчал. До кольцевой донесся мгновенно, в городе почти сразу пришлось притормозить.

Но он и не спешил никуда. Он по-прежнему ощущал себя на вершине покоя – расслабленный, размягченный, переполненный ее словами, прикосновениями, ее теплом, закутанный ее любовью, как младенец пеленкой, – скользил по сияющей предновогодней Москве. И без всякого спроса, точно помимо него, словно благодаря все той же прозорливости, которая раскрылась в нем сегодня, Алеша понял: ничего лучше тех четырех монастырских лет в его жизни не было.

Нет, не только не было, ничего лучше в его жизни – тут он почувствовал, что воздух, которым он надышался наконец до отвала, снова покидает его, безвозвратно выходит из легких, почему так рано? как же так? – ничего лучше в его жизни уже и не будет. Ничего счастливей и выше молитв в алтаре и в келье, выходов на середину храма с Псалтырью, торжественного чтения святых слов – не будет. И это «не будет» без предупреждения, вероломно прошило сердце тонким ледяным стержнем. Он застонал. Стержень входил все глубже

— боль сделалась невыносимой. И все тянулась. У такой боли должен быть конец. Но она продолжалась, ровно-ровно. Даже закричать он не мог, только зажмурился покрепче.

Инфаркт? Инсульт? Это от недостатка кислорода, клеткам мозга слишком долго недоставало кислорода, думал он лихорадочно, артерии блокировали свинцовые бляшки, свинец разлуки расставлял невидимо свои посты, и вот... Но может быть, все это результат колотой раны — протаранившего его только что стержня? Алеша снова открыл глаза. И подумал трезво, что приступ протекает иначе, совсем иначе, чем тогда, когда «скорая» увезла его после очередной бутылки. И что на этот раз он совершенно один. Стержень замер, боль приотпустила, и сейчас же в тонкую, как лезвие, паузу проник луч — день его крещения: насупленная бабка, в темно-красном платке, с алюминиевым чайником в морщинистой, загорелой руке, наполняла кипятком высокую серебристую чашу, белобрысый бойкий младенец, смешно машущий ручками, это для него готовили теплую воду, и слова батюшки Николая, которые он запомнил навсегда, но что-то не вспоминал давно, а теперь вот они всплыли, колыхались солнечными бликами на воде: «Возможно, никогда уже больше, Алеша, не будет у тебя таких открытий. Такой радости». Опять это «никогда»! И снова шевельнулось ледяное шило.

Позади сигналили машины, он слышал их рев, видел зеленый приветливый кружок светофора, мерцающую оранжевыми огоньками гирлянду в витрине, он все сознавал и по-

нимал, что самое время нажать на газ и поехать, но не мог двинуться, тем более двинуть машину с места, только незнакомо, будто это уже и не он, застонал. Даже стон дался ему тяжело, отнял последние силы. Голова запрокинулась, и снова он увидел: чаша, тепло, свет горит. Он смотрел и смотрел жадно в жаркую, праздничную воду. В движение сияющих бликов. Оседавший на зимних стеклах горячий пар. Кончалась многолетняя мука, он уже понимал – через несколько мгновений ему будет все равно, он станет свободен. И испытывал только радость, радость, несущую его все дальше, выше.

Среднестатистическое лицо

О степени отчаяния, разрывавшего эту, в общем, молодую и вполне благополучную женщину – давно москвичку, жену успешного предпринимателя, мать двоих детей, прекрасно выглядевшую (в 36 лет ей давали 30), – свидетельствовал простой факт. Она согласилась. Согласилась на переписку со случайным и совершенно неизвестным ей человеком.

Она не знала о нем ничего, только имя. И номер мобильного телефона. Одна цифра в номере расходилась с номером того, кому она адресовала короткую записку. Она получила ответ так быстро, будто тот, неведомый человек только и ждал, когда она ему напишет, – ответ был до такой степени дик, что она, кажется, даже потеряла способность мыслить и потому догадалась о своей ошибке не сразу. До этого успев написать еще два-три письмеца. Соответственно, обменивалась усеченными репликами с неведомым ей адресатом, которого половину времени она принимала за того, кому написала первую эсэмэску. Наконец она все поняла – но увидела в этом нагромождении случайностей, хотя каком уж там нагромождении – их было всего две! – совпало имя и почти совпал телефон, – так вот, в сплетении этих двух случайности ей померещился выход. Просвет.

Она бросилась в приоткрывшуюся дверь так стремительно, с такой больной надеждой на перемену участи, с такой

слепой жадностью, что споткнулась только на слове «милая». Да, неведомый Яша – не такое уж частое, между прочим, имя – тем не менее совпало именно оно, – неведомый Яша уже писал ей

Милая.

На второй день знакомства.

Это «милая» разволновало ее так, что только тут она приостановилась и взглянула на развитие событий внимательно, пытаясь разглядеть, дала ли хоть малые основания на эту... «милую». И увидела, что, разумеется, дала. Тем, что согласилась продолжить беседу. Если это можно было назвать беседой.

Поняв, что ошиблась, что переписывается совсем с другим Яшей, а вовсе не с тем, что был ей нужен, она сейчас же оборвала переписку. Яша побомбардировал ее эсэмэсками еще двое суток, а к вечеру третьего дня замолчал. Она выдохнула и немного скривила рот. Это легкое подергиванье губ могло означать что угодно.

Поздно вечером в воскресенье, спустя уже несколько дней после взаимного молчания, дней, совершенно обыкновенных и по обыкновению пустых, ее мобильный запел “*Strangers in the night*”, означавшей все незнакомые номера. Она ответила, совершенно не понимая, кто бы это мог быть.

– Здравствуйте, девушка-секрет, – произнес слегка запинаящийся, но отчаянно желавший быть веселым мужской голос.

Совсем молодой! Шпаряще юный. 19? 24?

Господи.

Яша. Конечно, он. Голос тут же подтвердил догадку.

– Яша, меня зовут Яша, мы с вами уже знакомы.

– Здравствуйте, Яша, – отчеканила она, – звонить мне не надо. Я вам уже написала, это была ошибка, сотрите мой телефон, и все! Не пишите и не звоните мне никогда.

Рядом сидел Валера, говорить иначе было невозможно. Хотя хотелось иначе – чуть мягче, отшить, но вежливее, в конце концов даже жаль его, дурачка, писавшего такие забавные письма с растянутыми буквами и нелепыми шутками... Она нажала «отбой» и сейчас же все рассказала Валере, торопясь, усмехаясь, Валера не улыбнулся, только плечами пожал: мало ли психов. Они досмотрели фильм, хорошо посмеялись – это была старая картина, про незадачливых французских военных, из Валериного детства. Но она смотрела ее в первый раз. В городе, где она родилась, этот фильм почему-то не крутили. Как и Валера, она прохохотала до самых титров.

Уже выходя из ванной и собираясь лечь, она услышала, что телефон, оставленный на кухонном столе, снова пикнул. Новое письмо гласило: «Ннн-еет, это все левые отмазы». Она не сразу сумела расшифровать «отмазы», но, расшифровав, не обиделась, а на миг ослепла.

От чужого одиночества, которое звенело в этом нахальном (да нет, робком – голос дрожал от волнения) человеке.

Внешне Яша говорил бодро и весело, но она слышала: голос дрожал! он очень, очень боялся ей звонить! и все-таки отважился! – словом, вовсе не нахальном, а испуганном, переполненном такой же слепой надежды звонке. И в этой мальчишеской обиженной глупенькой эсэмэске.

Но в конце концов существуют же сайты знакомств. Их, по слухам, совсем немало. Люди находят себе партнеров по всему, что пожелают, даже по походам на выставки, а также женихов, мужей, жен и подруг на недельную поездку в ОАЭ. Вот куда следовало обратиться одинокому Яше. Но он набрал ее номер. Возможно, потому что так удобнее? Девушка-секрет – она усмехнулась и зябко повела плечами. Стерла «отмазы», отключила мобильный, Валера уже посапывал, она нырнула под одеяло, натянула его до подбородка и закрыла глаза.

Утром ее поджидало новое послание. Предусмотрительно включив телефон лишь дойдя до ванной, она прочла: «Добрыми такие ошибки не бывают. Не пойдет. Мое имя, мой номер ты знаешь». Он и прежде так писал – с легким сумасшествием, без связи фраз, сразу же перейдя на «ты», без позволения. Она ответила ему лишь к вечеру, не думая, не задерживаясь ни мгновения мыслью на том, зачем откликнется на чужое безумие, ответила в свободную минуту, уже лежа с книжкой на ночь. «Ошибка как ошибка. Прошу вас больше не писать и не звонить. Всего доброго».

И сейчас же получила ответ: «Встречи нашей».

Через несколько минут прозвучал дубль: «Дышать!»

Тьфу ты. Может, этот Яша работал оракулом? Он вообще откуда? Может, он сидит где-нибудь в Дельфах, над расщелиной, глотает ядовитый пар и вещает, горько всхлипывая, невесть что.

Не невесть, в том-то... Встречи! Об этом только она и мечтала. Но вот и следующий поезд, новое письмо, третье подряд: «Только имя, имя твое, прашууу!» Просит – да пожалуйста, не жалко, она ответила и отключила мобильный.

Ощущение неумолимого угасания жизни не покидало ее с тех пор, как подросток Леша. Он подросток нынешним летом, начиная с дня, когда отметили его пятилетие. Цифра 5 означала, что нужно готовиться в школу – а там и полный конец.

Иринка повзрослела уже давным-давно, приходя домой, сейчас же запиралась и включала компьютер. Училась она на одни пятерки и тем не менее все чаще пропадала в каком-то то ли «Циферблате», то ли «Дупле», там и уроки делала, и общалась, как было на нее повлиять? С другой стороны, когда еще и погулять девочке? Что дома-то интересного? Дочь была еще одной выжженной территорией: дать ей она больше ничего не может, следовательно, совершенно не нужна. Она – нет. Только Валерины деньги.

Лешик пока спасал, но все менее надежно, вскоре же, вот-вот (да практически уже) исчерпается и этот ресурс.

Подруги по второму кругу выходили замуж, начинали жить заново. Вслед за Диной, словно сговорившись, друг за

другом сыграли по второй свадьбе Катя и Рита. Только Нятя оставалась верна себе: после краткого и неудачного замужества она поклялась больше никогда, меняла возлюбленных каждый год, но, что самое непонятное, чувствовала себя спокойной, свободной, искренне не желая ни детей, ни мужа, ни стабильности, пожимала плечами – зачем?..

И только она мялась и вот уже 19 лет стояла на месте. Потому что никак не могла себе объяснить, при чем тут все-таки Валера? В чем он-то виноват? Его все устраивало. За что ему этот удар? За то, что она не любила его больше. Не больше, нет. Никогда. Не на что было опереться даже в прошлом. Но это она!

И она хранила очаг, подбрасывала полешки, заботилась о детях, родительские собрания, француженка по средам, англичанка по понедельникам, большой теннис, жестко-доброжелательные отношения с няней – и не только, она и на работу ходила, чтобы не скиснуть в домашних хлопотах, – два раза в неделю преподавала английский на курсах, на которых Нятя была гендиректором.

Но лето, лето они еще как-то пережили – все-таки были все вместе, катались по южной Италии, Валера разработал маршрут, заранее заказал гостиницы, даже Иринка ненадолго оживилась, включилась, заворковала, как давным-давно уже не. Еще бы – красота-то вокруг какая. Виноградники, плюш, развалины, которым тысяча лет!

В середине августа вернулись в дождливую Москву,

Иринка сейчас же нырнула в «Циферблат», а ей казалось, что это тиканье страшное было никакое не тиканье, а тюканье по затылку топориком.

Оставалось только упасть лицом в грязь.

Тем более что к октябрю светлых моментов в жизни осталось два.

Они приходились на четверг и понедельник, когда она вела Лешу на рисование – туда они бежали, вечно не умея на полчаса раньше встать, занятия начинались рано, вскакивали в троллейбус и все не могли пристроить огромную черную папку на веревочках, которая всем мешала. Зато обратно шли неторопливо, сквозь просторный золотой парк. Здесь даже черной папке находилось место – она тихо качалась у нее на плече. Желтые березки – светлые, нежные, точно девочки, звонкая листва по щиколотку. Лешик прыгал, пружинил, вскрикивал – краснощекий, голубоглазый, довольный. Она улыбалась ему, даже сама подпрыгивала разок-другой, – действительно весело было и прыгать, и шагать по сухой, хрустящей воде! Откормленные серые белки спускались к самым дорожкам, легчайшим движением подхватывали с ладони орешек, снова взлетали на деревья. Неслись вверх, с ветки на ветку, с дерева на дерево – в высоте уже почти прозрачной, и возносились на самое небо, улетали и пропадали. Не одни березки, росли там и дубы, Лешик любил собрать побольше желудей и устроить желудиный салют, а иногда они играли на ровной широкой скамье в Чапаева, выстроив

бойцов-желудей в линии, выщелкивали их друг у друга. Рядом плавно скользили котята, один и другой, сбежавшие погулять из конюшни – неподалеку от выхода стояла конюшня с пони, катавшими детей. Здесь же обитало кошачье семейство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.